

Юрий Львович Котлер (1930-2020) — прозаик, журналист, драматург, педагог. Более 30-ти лет проработал в журнале «Советский Союз» и 20 — в должности ответственного секретаря журнала поэзии «Арион». То есть 20 лет мы с ним были бок о бок. Порой мужья со своими женами не проводят столько времени.

Вот он спешит в редакцию со своей простью. В дубленке, подаренной главой Монголии Цеденбалом. Восхищающийся каким-то поступком Ангелы Меркель. Юрий Львович — самый несоветский советский человек. Тонкий, мудрый, дипломатичный, комфортный. И замечательный рассказчик. Иначе было бы непростительно. Такая биография не дается просто так.

Дмитрий ТОНКОНОГОВ

Ю р и й К о т л е р

**ПЕСЧИНКИ, СПАЯННЫЕ
В МОНОЛИТ**

Впервые со Сталиным жизнь свела меня в 1936 году, в год Его конституции, хотя слова этого тогда я, естественно, не знал, мне было шесть лет. На майскую демонстрацию отцу — а его колонна шла первой у Мавзолея — райком разрешил меня взять. Сбор в полутьме, стояние, пробежка, опять топтание на час, и так бесконечно — даже тающий вафельный кружок был безвкусен; к тому же баян, взвизги, рев лозунгов, путаница палок с портретами — я был измочален задолго до Исторического музея. Но стоило отцу сделать шаг по брусчатке, я на его плечах ощутил некое дуновение — мы вступили в пространство важнее жизни. Волны восторга, обожания, жертвенности неслись к фигуркам, стоящим на трибуне над буквами ЛЕНИН, встречаясь с обратным потоком уверенности и силы. Точно над буквой Н стоял Он, в фуражке над усами и с

поднятой правой рукой. Его соратников было плохо видно даже из первой колонны, да и сама она почти бежала, но я-то знал, что над буквой Н возвышался колосс, проникновенное «Сталину слава!» подтверждало это и крепило.

В первом классе я был недосыгаем — единственный, кто удостоился быть с Ним практически бок о бок.

Самым изумительным стало то, что с великим кормчим, а все эпитеты я уже знал наизусть, мне довелось, скорее, неслыханно по-счастливилось, столкнуться вновь, и нос к носу, через год или два. Отец, а он был, видимо, в фаворе, получил приглашение во МХАТ, на «Дни Турбиных». Чтобы допустить в театр и меня, штампик «без места» нуждался уже в санкции горкома партии. Место было не ахти, видно плоховато, да и спектакль — большая скука, запомнился навсегда один М. Яншин, житомирский кузен Лариосик, и одинаковые коверкотовые костюмы во всех рядах. Зато с нашего места отлично просматривалась ложа неподалеку, безлюдно черная и — это такое ощущение — тайная.

Спектакль уже шел, когда, как и на памятный Первомай, пронеслось знакомое дуновение. В ложе, положив правую руку на край, сидел Он, тот же френч, те же усы. Я вырвал у отца бинокль, но, прекрасно понимая, что пялиться туда нельзя, направил его вроде бы на сцену. Тут же чья-то мягкая рука опустила бинокль мне на колени. Однако что-то я успел и чуть не заплакал — левая рука Сталина странно висела, мутно-пунцовая щека вся в оспинах, лоб низко висит над бровями; когда Сталин встал, стало видно брюшко.

Опустился, наконец, занавес. Несколько секунд тишины, и осторожные аплодисменты.

Сталин подошел к краю ложи, а зал, скрипя креслами, обращившись к ней. Подняв левую руку, он несколько раз ударил по ней правой. Зал взорвался аплодисментами. Вождь опустил руки. Зал замер в тишине. Сталин два-три раза снова хлопнул в ладошки, повернулся, и его укрыла чья-то широкая толстая спина. Зал рукоплескал, актеры в приподнятом настроении вышли на поклон. Пробежка перед Мавзолеем поблекла. До самой войны я с голым к однокашникам презрением рассказывал, что не только видел, но и, можно сказать, сидел рядом с вождем, и как он мощен, дальновиден и, если надо, суров. Я выглядел старше своих лет, и школа мне верила.

А читать я научился в три года по газете «Правда», сидя у отца на коленях, и, вероятно, со слова «нилатС». К началу войны был уже политически грамотен, т. е. знал, что миллионы энтузиастов, все народы СССР, в экстазе строят что-то типа Дворца Советов, отказывая себе в самом необходимом, а вот пролетарии всех стран запаздывают, видимо, по своей буржуазной привычке, стремясь прийти на готовенькое. Вождь в фуражке с Мамлакат Юлаевой на руках, скромно улыбаясь, мудро и терпеливо вправляет всем мозги.

Детство — всегда счастливое время, военное ли оно, детдомовское, сиротское, даже лагерное, только потому, что тебе очень мало лет и в мир — а он еще ярок и буен — ты лишьходишь. Другое дело, когда оно кончается. Нас, не доросших до жертвенных шинелей, выдернули из детства рано, но это было, скорее, весело, все твое, свободы от пуза, ты ничего не имеешь, но ни за что и не отвечаешь.

Память — причудливая штука. Зимой 1939-го я приморозил губу к ободку санок и затихал только вечерами среди взрослых. Запомнились, ввиду полного непонимания, два названия. Отец сильно выпил и заплакал: «Что же усатый делает? Майнила — копия Глейвица». Позднее я узнал, что в поселке Майнила в ноябре 39-го чекисты расстреляли красноармейцев, дав повод начать финскую войну. 31-го августа в Глейвице переодетые в польских солдат эсэсовцы захватили радиостанцию.

Ухнула война, я, спрятавшись от эвакуации и завывсив возраст, стал бойцом ПВО, трубил ночами на крыше, ожидая зажигалок. 16-го октября, в день великой московской паники, дежурства не было. Я пошел посмотреть, как грабят магазин в первом корпусе нашего дома. Мужик с багровым лицом в буденовке тащил через витрину мешок муки, осколок стекла прорезал мешковину, а мужик все тащил ошметки, оставляя на заросшей грязи молочно-белый след. Позже, уже спокойной ночью, вылезая на крышу через чердачное окно, я сразу наткнулся на прилипший лист, листовка — внизу крупно: «Мы накормим!» — и фотография: обросший щетиной человек в шинели без ремня и франтоватый офицер в фуражке с черепом, подпись: «Яков Джугашвили, старший сын Иосифа Сталина, в плену». Впервые я испытал ужас, я впал в панику. Спички ломались, не зажигались, наконец, кое-как листок удалось чуть спалить, снег с дождем его смыли. Я выдохнул, руки тряслись.

Снова еще одна ночь тоже засела в памяти, ясная морозная ночь уже в конце октября 1941 года. Мы дежурили с Платонычем, стариком лет сорока, у него на руке не было двух пальцев, он всегда болтал без умолку, как-то раз назвал себя «недобитый биолог». «Хочешь посмеяться, парнишечка? Высылали у нас умников к чертовой матери, философский пароход, кучу... хороших... да! Откуда тебе знать?.. А был такой Шпет Густав Густавович... он и попросись: оставьте! без родины, мол, не могу. “Милый, ему в ответ, родина — это святое, вождь это оценит!” Чуть выждали... и в землю родины и отправили, одна пуля, всего-то. Извини. Зачем тебе рассказываю? Забудь к чертовой бабушке. Не сердись...» Пыхнул луч, и, хотя бил он в спину, возникло ощущение удара. Когда я смог открыть слезящиеся глаза, всё было ярко освещено неподвижным лучом. В голубом сверкающем дыму висело распластанное тело: ушанка, ватник, ватные толстые штаны, кирзовые, в застывшей грязи, сапоги, черное тело словно бы плыло, колеблясь. Луч ушел в сторону, послышалось, будто мешок картошки бросили с грузовика.

Сталин вновь осенил мою жизнь в лютые морозы 1941-го: на ноябрьские праздники наш отряд ПВО вызвали в райком партии, и там кто-то при двух шпалах вручил мне пачку, большую, 200 граммов, табака «Беломор»: «Товарищ Сталин поручил наградить тебя, ты вместе со всем народом доблестно отгонял фашистов от Москвы». Это примирило меня с жизнью, я ведь не пошел за медалью «За оборону Москвы» — ровесники уже носили звезды Героев. Но Сталин-то, оказывается, знал меня, можно сказать, пожал руку. На эту пачку мы с мамой жили дня три.

За всю войну, «от звонка до звонка» у меня ни разу не случился насморк, ни когда мерз, ожидая зажигалок на крыше ночами под леденящим ветром среди голубых трепещущих столбов, ни когда топтался под снегом в часовых очередях, пока пустят «отovarить» карточки, даже в лютую зиму 41-го. Первые сопли потекли, когда я насквозь промок под ливнем, сдуру решив прорваться на июньский 1945 года Парад Победы. А так хотелось хоть краем глаза глянуть, как к стопам родного мне колосса на Мавзолее летят аж 200 насквозь промокших, должно быть, тяжелых знамен жестокого Рейха.

На том присказка кончается.

Все это время, едва с придыханием произносилось великое имя, — вдалеке слышался призрачный бронзовый перезвон.

До окончания школы оставалось два года. Школа стояла в Колпачном переулке, возле Покровки, тогда улицы Чернышевского, дружили мы с Геной Шангиным, позже автором песни «Синеглазочка»; Симоном Соловейчиком, сыном журналиста Константина Симонова¹, вынужденного сменить псевдоним; Женей Глезерманом, сыном видного философа-марксиста; чуть от нас в стороне Володя Осенев, племянник кого-то очень важного и без фамилии. Предмет общей гордости: напротив школы — особняк горкома ВЛКСМ, где Шелепин якобы благословлял Зою Космодемьянскую. Это много позже в конец Колпачного потянулись суетливо оглядывающиеся полутени — в ОВИР.

Бюст вождя стоял в школе в вестибюле, и каждый раз, входя, я кивал ему, как родному.

Жили мы с отцом и мамой на седьмом этаже в 12-метровой комнате бесконечно длинной коммунальной квартиры № 114 по Казарменному переулку, 8, с двадцатью тремя соседями. Ванной не было, а на кухне с одной раковиной, но столами и ведрами по всем углам, до 1947-го стояло подобие русской печи, потом провели газ.

В конце 1944-го года возродился в доме отец. С июля 41-го он жил на ЗИСе, автозаводе им. Сталина, весь сентябрь руководил минированием завода «Динамо» и окрестностей на случай сдачи Москвы; потом Урал, Сибирь, командировки — как не понять, он выполнял задания Сталина, настолько мудрые, что не справиться было нельзя.

Полностью текст можно будет прочитать позднее на нашем сайте www.new-youth.ru в разделе "Архив".